

Узенькая дорога у села Калюткино шла между обрывами — по обе её стороны всё было изрыто: котлованы, карьеры, ямы, воронки... Земля на срезях коржами: слой красный, слой розовый. Едешь, будто в раскалённый ад спускаешься. Съежился я весь от такого пейзажа, дрожью обкатился.

— Глину роют! — просипел таксист, заметив моё внимание к карьерам. — Вы к кому едете-то?

— В храм ваш едем, Сретенский...

— А, к ненормальной!

— Почему ненормальной?

Водитель лишь ухмыльнулся в ответ.

В Сретенский села Калюткино мы с оператором ехали снимать телевизионный сюжет про храмы местного района. Заранее знали — встретит нас староста церкви по имени Людмила. Мы хотели по-быстрому, как это говорится у нас, “набрать картинки”, записать интервью и уехать из этой красной преисподней восвояси. Но какую встречу подарила нам эта поездка! На всю жизнь запомним.

Староста Людмила Тихонова — женщина среднего роста, с короткими белыми волосами, в косынке, карие глаза, полные влюблённости, встретила нас у въезда в село. Посадили её на переднее сидение — дорогу показывать, хотя мы бы и сами не заблудились: храм, пусть и низенький, но хорошо виден издалека. Беленький, резной, двухкупольный; один купол — большой — над церковью, второй — махонькая совсем “луковка” — над трапезной.

Вход в храм заперт на замок, Людмила Георгиевна гремит ключами, телом подпирает дверь, что-то в замке щёлкает — открыла, значит.

— У нас, ребятки, в храме холодно, только на праздники топим, дров нету, — объясняет староста и проходит вперёд нас, мы — за ней.

Уютный храм, душистый, светлый, райский уголок, только над иконостасом — трещина огромная в стене, и ещё в двух местах — щели.

— Хорошо здесь у нас, — торопится угадать наши мысли Тихонова, — для меня это самое лучшее место.

— И, правда, душа поёт, — поддержал я новую знакомую.

К иконам подошёл, разглядывать начал, видно, что старинные, а я люблю такие, от них тепло идёт и дышится как-то по-другому — не то свет выдыхаешь, не то пыль от света — в храмах такое часто можно наблюдать — лучи широкие, толстые из окна на иконы тянутся, а от лучей пыль рассеивается, как будто снежок из облачка сыплет. Всю жизнь бы смотрел на это чудо. Но надо было начинать работать, задавать вопросы, разговаривать...

— Иконы-то у вас не новые, а храм, я слышал, вроде лет шестьдесят не работал? — спросил я у старосты.

— Это правда, закрыт был, а когда освящали его заново, местные принесли, у них все иконы-то с храма и хранились, никуда не делись.

— А вы местная?

— Я здесь родилась, да. Но при мне уже на месте храма школа была. Я там училась, на иконах прямо.

— На иконах?

— Да, парты такие складные были, сидишь, пишешь на доске, а потом доску поднимаешь, а там, с другой стороны, — образ, вот так и учились.

Нет, не сокрушалась, рассказывая это, Людмила, с улыбкой вспоминала. Да и что сокрушаться — она-то здесь причём, если из икон школьную мебель сколотили.

— Каких только историй не услышишь! — наигранно удивился я, чтобы спровоцировать собеседницу на продолжение разговора, и, конечно, моё актерство сработало.

— Ой, да что говорить, времена лихие, мы бестолковые, я сама всю жизнь с иконой проиграла, она у меня вместо куклы была, — что-то дрогнуло у меня внутри, какая интересная история может получиться, вот бы эта икона сохранилась, чтоб Тихонова возле её “куклы” снята.

— Вон она, моя лапушка, — и маленькая улыбка Людмилы Георгиевны на легко тронутом морщинками лице показалась мне ангельской, столько в ней было трогательности и любви — до сих пор помню. — Икона Божьей Матери Знамение. Старая, говорят, начала девятнадцатого века.

Икона лежала на деревянной подставке у левого окна, прямо как раз под световой пылью. Образ был под стеклом в серебряной ризе, потемневший, Божья Матьерь молитвенно подняла руки, а на груди у неё — Божественный Младенец в кругу.

Впросительно посмотрел на Тихонову, мол, продолжайте, говорите.

— Под ризой-то сейчас не видно, но сама Божья Матьерь, она как бы клеена в другую доску, потому что она вырезана была, как раз по своему силуэту, не знаю, как и кем вырезана, мне её так и подарили — в детстве ещё. “На, Люд, играйся!” — и Тихонова перекрестила икону. — Я её Машкой называла, одежду шила, таскала её везде с собой, да у многих тут такие “куклы” были, у девчонок у наших, — то ли оправдываясь, то ли для полноты картины добавила Людмила Георгиевна.

В тот момент, когда Тихонова рассказывала нам про свою “куклу”, мы ещё не знали, какую роль она сыграла в судьбе этой женщины. История

невероятная, и нам её Людмила Георгиевна не сразу открыла. Сначала мы узнали про историю храма...

Построена Калоткинская церковь на деньги местного купца, который сам был из иноверческой семьи, но, придя в Православие, не скупился на богоугодные дела. Ещё известно, что во время революции прямо под стенами церкви красные с белыми сражались. Красные тогда победили, а убитых красноармейцев в церковной ограде похоронили. Вскоре храм закрыли, естественно. Сначала хотели конюшню устроить, потом надумались школу открыть, так вплоть до девяностых годов школа и была, парты, правда, ещё в семидесятых новые завезли, а так всё на иконах учились. А потом, когда парты стали выбрасывать, старушки их себе по сараям да чердакам запрятали. Там же у них хранились из поколения в поколение тайники с целыми иконами — всё вернулось в храм, когда открыли его после ГКЧП.

— А я в институте тогда работала, учёная я, докторскую как раз защищала, мне сестра звонит, говорит, тут батюшка опись икон нашёл старую, а где, спрашивает, икона Знамение, случайно не знаете? Якобы в архивах про неё такое написано! Якобы чудеса какие-то совершала. Сестра-то мне рассказывает это, а я сразу поняла — моя это икона, моя “кукла”. А я же с ней не расставалась всю жизнь, даже с собой увезла после школы. И вот она меня и спрашивает вскоре, а не та ли это икона, с которой ты бежала всё? А я говорю ей, дура неразумная: “Нет, Кать, моя-то и не Знамение вообще, и вообще я её уж давно потеряла. — Ну, потеряла, и нехай с ней”, — Катька моя отвечает. Поговорили мы с ней, а я потом до утра не спала...

Людмила Георгиевна спохватилось вдруг, к печке побежала, широченная печка с чугунной дверцей, такой мощной, что, когда староста её открыла, показалось, что створка перевешивает всю печку и она вот-вот вместе со всей стеной завалится прямо в храм.

— Холодно ведь, мы обычно не топим, только на праздники, — снова напомнила нам староста. — Но для гостей таких сейчас затопим немного, а то снимать вам холодно будет.

— Да вроде бы не сильно холодно, — поспешил успокоить её мой оператор Саша и выдохнул очередной клуб пара. — Так даже бодрит, свежо, — добавил он, уже, видимо, для себя.

— Да? А камера-то не замёрзнет, снимет? — поинтересовалась Тихонова с таким любопытством, будто больше нас была заинтересована в том, чтобы камера не подвела.

— Да снимет, куда она денется, я с ней весь Полярный Урал обегал, ничего не сделалось, — хорохорился Саша.

— А вы в Заполярье были? — любопытства в голосе старосты стало ещё больше.

Так, всё, подумал я, надо их разговор перебить, а то Саша как начнёт свои байки травить о командировках — до утра не управимся.

— Людмила Георгиевна, так что там про икону-то, куда увезли-то её? — спросил.

— Я школу-то закончила когда... Так что, значит, не топить? — Я покачал головой. — Так вот, школу я закончила и засобиралась в город, у нас-то учиться здесь было негде, а я мечтала физиком стать. С детства наш учитель сельский Пал Егорьевич меня к физике приучал. Я в школе лучше парней в ней разбиралась, все олимпиады, какие в районе были, — Тихонова всегда в медалистах... Так вот, значит, в город я собираться стала поступать-то... Мама, конечно, поревела, до последнего дня все божилась, что не отпустит, но отец сказал — пусть едет, нечего ей среди деревенских ошиваться, так и так в подоле, мол, принесёт, если в деревне останется.

Ну, значит, день отъезда. Мама ревьма ревёт, чемоданы мне помогает застёгивать — набились полные. И тут она меня, как крапивою по душе:

“А Машку-то свою взяла? Возьми, с ней всё веселее будет”.

— А я думаю, и правда, что это я “куклу” свою не подумала даже с собой забрать, мы же с ней с раннего детства неразлучницы. Всё, помню, если чего набедокурую, отец накричит, а я в комнату к себе иду, иконку-то эту из-под подушки достану и сижу, жалуясь ей, и вскоре все обиды как рукой

снимает, смеюсь даже я, что это я какие-то глупости подружке свобей деревянной рассказываю, возьму её и побегим на реку или в поле, обкладываю её цветочками, веночки для неё плету... А однажды потеряла Машку свою, собака соседская меня спугнула, когда я клубнику у нас за домом на полянке собирала... Только домой когда прибежала, успокоилась, слезу утёрла, и тут-то вспомнила, что “куклу” свою в траве оставила. Ещё пуще реветь начала, побежала обратно, а её уже и след простыл.

“Ну, что? Убежала от тебя твоя Машка? Кому такая подружка-растяпа нужна”, — мама-то мне говорит, а я ещё пуще прежнего реветь давай. Так расстроилась, что аж есть перестала. А у меня бабка по маме, баба Шура, она в сельсовете работала, коммунистка прожжённая, давай меня успокаивать: “И нечего детям иконами играть, и правильно, что потеряла, нечего эту заразу в доме держать”. А я на неё как накинулась, укусила даже: “Сама ты зараза, — говорю. — Не тронь мою Машку”. А она только рукой махнула, которую укусила-то я: “Но ничего, я тебя ещё перевоспитаю!” А я, когда ушла-то она, давай маму спрашивать, почему баба Шура “куклу” заразой называет? А та мне ничего не сказала, боялась, тогда же это совсем не приветствовалось, хотя у всех в доме иконы были, почти у всех, но все из себя атеистов на людях строили, не дай Бог, кто донесёт кому, неприятности, сами понимаете, лучше от них укрываться.

А была у меня ещё одна бабушка, по отцу, баба Аня, дояркой работала, так та, наоборот, никогда не скрывала, что верующая, крест никогда не снимала. Её не очень любили к нам в дом приглашать, не потому что доярка, а потому что верующая, и про Бога всегда говорила, и всех грешниками называла, меня только все “ангел” да “ангел”, а кто такой ангел, мне не сказывала... Со мной вообще о Боге она даже и словом не обмолвилась. Потом уж мне мама призналась, что это она бабу Аню как-то упростила меня в религию не посвящать, потому что дети есть дети — быстро разболтают, и разнесётся. А это же пропаганда считалась, понимаете? — и Людмила Георгиевна обернулась, стала прислушиваться, будто хотела удостовериться, нет ли кого за дверьми, или не сидит кто в печке? Но это она так, оказывается, ветер слушала, он бил в печную трубу изнутри, время от времени прикрикивая на кого-то своим металлическим, раздирающим грудь голосом. — Ветер поднимается, видать, всё-таки придётся затопить с вечера, завтра у нас отпевать Илью Петровича привезут, пожил мужик до восьмидесяти, всем бы Бог так дал пожить... Так на чём я там остановилась?

— О бабушке вы говорили, что о Боге ей запрещено было с вами...

— Да, да, запрещено, вы даже представить себе не можете, в какие времена мы тогда жили! И страшные, и абсурдные. А в тот день, когда я Машку-то потеряла, я заболела сильно, слегла с температурой, и как раз баба Аня пришла, к чему я её вспомнила-то, она редко заходила, как я вам уже рассказала, но в тот день пришла. Я ей о своём горе и наостонала.

“Ну, ничего, ничего, просто так икона не уходит, твоя-то особенная даже, вернётся, если на то воля Божья будет. Не уходит запросто так икона”, — она-то мне в ответ, понимаете, так прямо и сказала, что, мол, “икона не уходит”, мама на неё цыкнула, но толку цыкать — я уж услышала...

“Какая икона, баба Аня?” — спрашиваю я.

“Так какая, какая, “кукла”-то твоя — это икона. Я уж давно хотела у тебя её сама отобрать, да думаю, пусть ребёнок хоть так приобщается, всё Божья Матерь к ангелу ближе”.

Ничего я тогда не поняла, конечно, лежу вся белая, всё болит, мухи во-круг, комары, жить не хочется.

“Найди мне мою Машку, баба, — прошу её. — Она на поляне за домом, где клубника дикая. Артос, наверное, унёс её, сходи к ним, а? — Прошу и плачу.

Баба Аня помолилась тогда надо мной, чего-то там с мамой сцепилась языками да ушла. А в ту же ночь у соседей баня загорелась, и на конюшню огонь перекинулся, а там у них и корова, и телята, и свиньи, кого только не держали. Мы тоже из дома вышли, на всякий случай, вдруг чего. Меня мама на руках держала, а я вся горю сама, как баня, температура страшная

у меня, ничего не понимаю, чего там, где, у кого огонь. Только вижу сполохи где-то вдалеке, как сквозь туман. И вдруг всё потухло. Я ещё минуту всматривалась — нет огня.

“Потушили?” — маму спрашиваю.

“Да вроде не горит больше. Ну, сейчас домой пойдём, сейчас ляжешь. — И мы к двери-то своей подходим, а она как раз напротив соседской конюшни, там дядя Вова — наш сосед — с сыном возится. — Ну, чего, Вов, потушили, ага?” — мама его спрашивает.

“Да само погасло. Огонь шёл такой, как шайтан какой налетел, и вдруг погасло всё”. — По голосу даже я понимала, что дядя Вова сам себе не верит.

“Как так? Как погасло-то?” — не верила и мама.

“Сам ничего не понимаю, но, видать, не судьба нашей скотине стореть-то было, а то ведь огонь сначала ворота обхватил, вывести не успели никого”.

“Ну, дела”, — подивилась мама и понесла меня домой.

Всю ночь я пробредила. Как же плохо мне было, одному Богу известно. Никогда больше так не болела, до сих пор вот Бог миловал, а тогда уже у мамы прощения просила — помирать всерьёз собралась. Для детей-то смерть проста, это взрослые её боятся.

А наутро дядя Вова к нам вбегаёт, орёт на всю Ивановскую:

“Нет, ты представляешь, Петровна, я сейчас-то подхожу, смотрю на то место, где огонь-то остановился, а там икона какая-то лежит, почернела вся, я её еле увидел. Поднял, рукавом обтёр, как есть — икона, это ж надо, а! Так и в Бога, не дай бог, поверишь!” — так басил, что аж люстра тряслась с висячками стеклянными — тогда такие в моде были.

“Да не ори ты, моя вон температурит, — попросила соседа мама, сама она у печки пирожки стряпала. — Что за икона-то?”

А я лежу, всё слушаю.

“Да, вроде как Мать Иисусова с Младенцем посередине. Кто её знает? Обрезанная по краям, по силуэту-то...”

Слышу, у мамы противень из рук выпал.

“Где она?” — спрашивает у дяди Вовы.

“Икона-то? Да вон на дворе валяется, куда я её? Мне бабка своего добра, вон, в подполе оставила...”

Мама бегом во двор, я уж тоже к тому моменту поняла всё, с кровати встала, иду, еле ноги передвигаю, как раз до порога только дошла, смотрю, мама с Машкой моей заходит. Ох, уж и бросилась я на неё! А икона-то вся в саже, и я вся чёрная стою, мама ругается, я опять реветь — рёва та ещё была, как вы уже поняли. Но в тот-то раз я от счастья рыдала — “кукла” моя ко мне вернулась. И в тот же день к вечеру я уже снова бегала — болезнь отстала от меня, даже слабости никакой не ощущалось. Вот ведь как бывает! Я теперь вот что думаю — это видать “куклу”-то мою Артос тогда и унёс в зубах да бросил в конюшне, видать, она тогда соседям нужнее была, вот и ушла от меня. Нет, всё-таки я затоплю, ребята, а то промёрзнет всё, тепло должно быть образом-то, лапочкам.

Людмила Тихонова вернулась к чугунной дверце, снова показалось, что со всей стеной падает печка. Староста, до этого оставшаяся в болоньевом плаще, расстегнула пуговицы, показался фартук, из переднего кармана которого она достала коробок со спичками. Через какое-то время из печки стал раздаваться лёгкий треск, будто кузнечик начал распеваться; ветер, голосивший до этого в трубе, умолк, напоследок поругавшись с рождающимся огнём, из-за чего тот и трещал, как баба на ярмарке.

— Ну вот, сейчас потеплеет, у нас быстро это, и славу Богу! — приговаривала Тихонова, топчась у печки.

Я еще послушал печной треск, убедился в победе огня над ветром и поспешил задать главные вопросы, от которых Людмила Георгиевна пока что отступала в своём необыкновенном рассказе.

— Так как же вы в этом храме-то оказались? Чувствую я — здесь какая-то невероятная история! — снова подзадорил я старосту.

— Ну вот, я и рассказываю! Я, значит, после школы уехала в город, поступила в институт, замуж вышла, двое детей у меня, муж хороший, работала

я в НИИ, потом в оборонной промышленности, преподавала, докторскую защитила, в общем, дал Господь мне себя проявить. И всё это время “кукла” — то моя, матушка икона Знамение была со мной. А уж когда этот храм стали восстанавливать, я уж сама к вере в то время приходиться стала. Вот хоть все и говорят, что учёные в Бога не верят, а я так скажу: учёные-то первые, кто знает, что Бог есть, просто они привыкли всё доказывать фактами, а здесь верой доказывать надо, любовью, а это для учёных, да тем более для физиков, совсем незнакомая область.

— А вы как пришли к вере-то, Людмила Георгиевна? — кажется, интервью подбиралась к самым вкусным деталям.

— Да вот я вам про это-то и рассказываю! Значит, вот когда сестра-то мне позвонила и сообщила, что икону мою ищут, я до утра не спала. Думала: отдать — не отдать. Вроде, все вернули свои, вроде, и правильно было бы вернуть: икона, раз она в церкви до этого хранилась и там какие-то чудеса совершала, в церкви и должна пребывать. Но я же вам объясняю, что это был мой талисман как будто, мой крестик, моя подруга настоящая. Как же её отдавать-то! А чудеса-то, знаете, какие эта икона совершала? — снова отошла от темы староста. — Она ведь не только от пожаров, она же и от болезней, и от голода все деревни вокруг спасала. Да тут до сих пор поговорка есть — Знамение будет, любовь не убудет. Это так старики ещё говорили наши, мол, пока икона-то эта здесь, то и Бог с нами. Это вот всё я потом прочтала в архиве, в журнале церковном, в нём батюшка Сергей Власов ещё до революции записи свои оставлял. Это уж я потом всё прочла, а тогда-то, конечно, и подумать не могла, что за “кукла” моя такая, чудесница Маша. Но тогда я сказала себе — моя “кукла”, со мной была, со мной и останется. Вот как маленькая, ей-богу, хотя к тому времени уж докторскую защитила, двух девочек поднимала. Сейчас, прям, смешно вспомнить даже, какая во мне тогда вредность проснулась!

Ещё месяц где-то прошёл, а сердце моё с того дня, как сестра позвонила, ноет, ноет, ноет. Всё хожу да посматриваю на доску с Божьей Матерью. А сестра с тех пор уж раза два звонила: “Как пить дать, — говорит, — икона-то твоя — это наша деревенская реликвия, по всем описанием схожа, ох, как жалко, что потеряла ты её! Батюшка так переживал, когда узнал!” — капала мне, как это говорится, на совесть. Я-то ведь понимала, что не потеряла я её, вот она стоит передо мной, смотрит на меня. А смотрела она на меня, ой, ребятки, вот не поверите, смотрела всегда по-разному. То сурово, то улыбалась, то грустила. Это, как я для себя поняла, когда я что-то не то делала в жизни, “кукла” моя сердилась, когда правильно всё шло, она улыбалась. Ну, вот что ты ухмыляешься? Вот так и было! Да и по сей день так. Вот сам подойди, посмотри, если улыбнёшься, значит, исполняешь волю Божью. Ты подойди, подойди, — начала уговаривать староста.

— Обязательно подойду, вот как только историю мне свою расскажете! — пообещал я Тихоновой.

— Ну, а что история моя? Через полгода я приехала в деревню погостить к своим, да и привезла “куклу” свою. Отдала её батюшке. Ой, на следующий день все наши старушки собрались, целый праздник они с батюшкой в церкви устроили. Так радовались, так молились, так пели, я ни на минуту тогда не пожалела, что с “куклой” рассталась. Для меня-то она тогда так и была кукла — ни больше ни меньше. О вере я только начала в ту пору размышлять.

Помолчала староста, призадумалась, а глаза у неё — радостные, светлые, и такие от них волны нежности и теплоты. Весь наш разговор они такими были, будто бы сам благодатный огонь в них зажигается. Никакой печки не надо.

— А потом, как приехала я домой, в город, чувствую — не на месте сердце, вот как душу оторвали, как будто только оболочка моя в квартире, а сама я — там, в деревенском храме.

Снова помолчала Тихонова. И снова в глазах её благодатный огонь

— Вот, знаете, как говорят? Вам, наверное, знакомо, у молодых есть такое понятие — сохнуть от любви? Ведь, правда, есть такое. Вот только от

влюблённости сохнут, от любви, наоборот, жизнью наполняются, но это другой разговор. Я к чему? К тому, что сохнуть стала, как икону-то в храм отдала. И сама не понимаю, что со мной. Ничего не мило, ничего не радует, по ночам сна нет, все мысли только о “кукле”, да о деревне, о церкви. И тут мне сестра опять моя звонит. “Ой, — говорит, — беда у нас, икона-то твоя вся чёрной стала. — Как же, — спрашиваю, — чёрной-то стала? Горела, что ли? — Да нет, — отвечает сестра, — сама по себе почернела. Никто не знает, что такое. Батюшка наставляет всех — усерднее молиться. Молимся, а что толку-то, совсем уж образа не видно”.

Значит, не зря со мной такое делалось, чувствовала я, что не так, неправильно я как будто поступила. Даже мысли у меня, вот вы понимаете, даже мысли у меня тогда не возникло, что икона не из-за меня почернела. Я виновата, и всё: от себя её оторвала, вот знала я это на все сто процентов. Понятия не имею, откуда у меня такая уверенность была, но вот была. Теперь-то я понимаю, а тогда сама себе удивлялась. Ну, да что — неверующие люди всему удивляются от глупости своей; верующие, те, кто по-настоящему верят, никогда ничему не удивляются.

Приехала я вскоре снова к себе в деревню. Первым делом в храм пошла. Смотрю на икону, а она к тому времени уже в ризе, под стеклом, а вся чернистая-черниющая, как вот когда мне её принесли после соседского пожара. Я на колени так и упала, и внутри меня закололо всё, будто горячим пеплом душу осыпало.

Батюшка говорит: “На, почитай”. Я смотрю, вроде, по-русски написано, а не понимаю ничего.

— Акафист это, почитай, не противься, — шепчут мне старушки, которые при храме были.

И вот я давай читать, сбиваюсь, конечно, на каждом слогe, к концу только уж обжилась со словами-то этими волшебными:

“Радуйся, душ наших сладчайшая весно, радуйся, сердец наших светлейшее утро,

Радуйся, высоту недомышляемая, радуйся, славо неувыдаемая...”

Чего говорить — боготворно! Акафист — это песня, никак иначе. И вот, почитала я, как могла, на следующий день тоже пришла, помолилась. Но нет, конечно, икона не очистилась, хотя я втайне верила, что, глядишь, и просветлеет передо мной моя Машенька. А Машенька ждала, чтобы просветлела я. Опять домой в город вернулась, да вскоре слегла. И отчего слегла? Врачи — воду льют, объяснений нет. Температура в норме, сердце — тоже, ничего не болит, а слабость — встать не могу, и пот ручьём льет; ага, то пот, то озноб. И простуду тоже не обнаружили. Всё, здорова! Больничный не дали мне тогда, еле-еле на работу ходила. Дня три так ходила, на четвёртый не пошла, не могу — и всё, будто к кровати приковали да на грудь булыжников накидали. Давит всё. И белый свет не мил. В тот же день вижу сон. Вот захожу я в храм наш, а там пусто, я к “кукле” своей иду. Только дошла, слышу шорох сзади, оборачиваюсь, вижу — у печки женщина стоит, красивая, в голубом платье, волосы под косыночкой, на меня смотрит радостно, улыбается и говорит вдруг:

— Холодно мне!

А я ей и отвечаю:

— Так не топят, видимо, лето же вроде как на дворе.

А она опять своё:

— Холодно мне, холодно!

— А вы кто? — спрашиваю, потому что я, вроде, всех местных знала, а эту раньше не видела.

Та только улыбнулась в ответ и вышла из церкви. А я стою и чувствую, что и правда — холодно. И так резко вдруг продрыгла вся, съежилась, думаю, дай затоплю. Гляжу, а у печки дров нету, обычно там накинано. Вышла на улицу — там, на полянке за храмом, дровня стояла. И вот перед глазами моими: солнце жарит, трава огромная, сочная, зелёная, цветы, как подсолнухи все, не меньше, ягод видимо-невидимо... И посреди поляны женщина та стоит, на меня смотрит, улыбается и снова:

— Холодно мне.

Я аж рассердилась, чего холодно, вон, лето какое, жара. И тут проснулась. Вся в мурашках лежу, замерзла, будто посреди зимы без одежды на улице вышла... И тут звон колоколов, я аж подскочила! Что такое? Где звонят? Вроде, нет церкви-то рядом. Мужа своего спрашиваю: “Ты слышишь колокола?” Он на меня смотрит, побледнел весь: “Ты чего, мать? Тебе плохо?” А я стою и понимаю, что хорошо мне! Хорошо! Колокола бьют, я радуюсь! Но только сон-то свой вспомнила, эту женщину в голубом, и снова в озноб ударило. Села я на кровать, зарыдала. Ясно всё стало мне тогда. Вот опять, коли спросите, не отвечу, откуда эта ясность взялась, но уверена была — это я Богородицу во сне-то видела. И звон колоколов тому подтверждение, мне уж тогда известно было, что бывают случаи — слышат люди звон, даже когда храма рядом и в помине нет. Это вроде как знак сверху...

Долго я в ту ночь не спала. Да, мне кажется, и вообще не уснула. А через неделю говорю мужу:

— Поеду я в деревню.

— Так ты же недавно там была, — муж-то удивился.

— Насовсем поеду я, — мой смотрит на меня, молчит.

— Ты чего, бредишь?

— Я всё решила, девочки наши уже на ногах, по семьям своим разбежались, мне на пенсию скоро, ты — как хочешь, а я поеду. — Вот так ему прямо и говорю, говорю и не чувствую ничего.

— Ты с ума сошла под старость! И что за болезнь ты подцепила?

Ну, конечно, мы ещё месяц с ним ругались, решали, что да как. Но я всё равно знала: уеду. На своём стояла. Смирился мой, наконец. С тех пор всё меня “ненормальной” называет, не иначе! Сейчас уже, правда, ласково, по-доброму, а когда приехала-то сюда, он год со мной не разговаривал. Потом уж заезжать стал, а сейчас ничего — со мной, живём, он бомбит иногда, я статьи пишу в журналы да книгу вот заканчиваю, ничего — везде жить можно. А на работе и в институте, где я преподавала, никто меня тогда не понял, само собой. Спрашивают: “А ты чего всё бросаешь-то? Ради чего?” А я и объяснить толком не могу.

— А потом что было? — спрашиваю я тихо, пока староста молчит.

— А потом светлые дни наступили. Я приехала, стала в храм ходить, молиться научилась, бабкам помогала порядок поддерживать, а потом, уж две недели прошло моего здесь жития-то, гляжу — “кукла” моя опять как была! Никакой черноты! Раскрылась икона-то, и снова мне улыбается!

Ну, вскоре я крестилась.

А когда бабки-то умерли, староста прежняя Антонина Ивановна отошла, Царствия ей Небесного, тогда мне батюшка и предложил вместо неё стать. Даже не думала — сразу согласилась. Так вот и живу. Все при “кукле”. Грею её, чтоб не холодно. Во сне она больше не приходила ко мне, а зачем? Мы же рядом, — и Тихонова подошла к своей иконе, стала целовать её, гладить, так гладить, как гладят самых любимых на свете людей в благодарность за счастье. — Вместе мы, да, матушка моя, Маша моя, подруженька. Хорошо нам, вот так и живём, хорошо живём!

Прощались мы тепло, сели в такси. Как догадался я — это муж Тихоновой нас привез, он и увезёт обратно до станции.

— Что-то не быстро вы, накинуть за простой-то придётся, — предупредил таксист.

— Накинем, не проблема, — пообещал я и в последний раз посмотрел из окна машины на храм. Уже подкрадывался закат, белые стены и купола покрывались оранжевым отсветом, из печной трубы валил чёрный дым... Чудная картинка, фотография памяти.

Запомнились навсегда и карьеры по обе стороны дороги, красные, под закатом и вовсе морковные.

Уже в городе вспомнил, что так и не посмотрел, улыбается ли мне Богородица...